



Лев КОТЮКОВ

# За гранью

На склоне лет волей-неволей, начинаешь призадумываться: как я попал в так называемую художественную литературу и какого рожна ей надо от меня, немощного?!

Уверен, что некоторые, подчёркиваю, некоторые настоящие писатели, в отличие от пресловутых инженеров человеческих душ, страшными русскими ночами наверняка маются этим тупым, а посему неразрешимым вопросом. Вот и я маюсь, хотя... Да ладно — маюсь и basta! Ибо лучше не досказать, чем пересказать...

Так-то оно спокойней — и для меня, и для читателей, ибо практически всё написанное мной не понимает почти никто. Но тот, неведомый, кто, к моему ужасу, понимает всё, явно не одобряет моё сочинительство, ибо я давно за гранью благоразумия — и постигнутое мной в слове ни к чему князьям мира сего, а читателям и подавно.

«Ну зачем, зачем я, как в цементную яму, угодил в эту чёртову художественную литературу, и что ей, проклятушкой, от меня надобно?!» — долбит и долбит душу злой вопрос.

Молчит художественная литература.

Молчит, сука, не даёт ответа!

И я молчу, и не мешаю т.н. художественной литературе доживать мою смутную жизнь вместе с остатками неверного грядущего.

Раньше я огорчался, что меня не читают и на сей счёт даже накарябал эссе «Во тьме непротечения».

А теперь тихо радуюсь, что не читают. И радуюсь совершенно обоснованно, ибо словно порядочный врач боюсь навредить людям тяжёлым словом своим, да и самому себе, многогрешному. Хватит с меня неведомого судьи, который вроде бы уже решил, что я недостоин сочинений своих, что я слишком уж волюно зашёл за грань дозволенного свыше, откуда нет возврата в благоразумие, где Слово хранит Молчание, где смертные слова земные без надобности. Но, может быть, мой праведный судья ещё не вынес своё решение и дал малую отсрочку, дабы я всё-таки сумел ответить на вопрос: как я попал в художественную литературу и какого рожна ей надо от меня, немощного?! И, дай Бог, отвечу! Но не сейчас... Отвечу, не лукавя, не как писатель, а как человек, — и девизом моего ответа станут слова Сына Божьего:

«Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо Я дам вам уста и премудрость, которой не возмугут ни противоречить, ни противостоять все противящиеся вам».

Но сейчас я ещё вроде бы писатель, а посему имею полное право, вернее возможность, поведать о своей жизни в литературе. Что касается вышеупомянутого права, то это вредоносная химера и бред больного воображения, ибо у человека, пусть даже и писателя, нет никаких прав перед Богом, а только обязанности.

Однако что-то тяжеловато и неловко нынче складывается сочинительство моё: какая-то гранитная скованность владеет мной, как идея абсолюта, владевшая Гегелем, — и неспроста он сам стал абсолютотом для идиотов, а я, извините, идиотом быть не хочу, да и Гегелем быть не жажду.

Каждый человек — абсолют в пределах своей сущности, которая катастрофически неизменна в пространстве и времени, в отличие от личности и безличности, ну и т.п., — без которых нет жизни в т.н. художественной литературе, да и самой худлитературы нет, как метлы без палки и верёвки.

Но, слава Богу, худлитература живёт и даже песни поёт во всю глоть, типа пресловутой «Смуглянки-молдаванки». Текст данного, с позволения сказать, художественного произведения чудовищен по своей аморальности, безграмотности и глупости. Ну хотя бы начало:

Как-то утром, на рассвете, Заглянул в соседний сад, Там смуглянка-молдаванка Собирает виноград.

«Как-то (ха-ха!!!) утром, на рассвете...» Полное издевательство над русским языком, но ещё терпимое, звонко перекликающееся с другой общеизвестной несуразницей: «Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет...», ибо у лирического героя «смуглянки-молдаванки» с этим явно проблемы.

С какой такой праведной целью он вдруг на рассвете заглянул в соседний сад? Да элементарно, Ватсон, — наверняка что-нибудь задумал украсть у спящих соседей! А смуглянка-молдаванка каким образом оказалась в чужом саду? Тоже, стало быть, воровка. И самое кощунственное, что весь этот любовный сюжетец разворачивается в начале Великой Отечественной войны, в Молдавии, оккупированной румынскими фашистами. Главный герой песни — сексуально озабоченный бугай призывного возраста, — не только мелкий вор-хобёл, но и, видимо, дезертир-мародёр. Вместо того чтобы сражаться в рядах Красной армии за свободу и независимость нашей Родины, он промышляет в чужих садах-огородах и, уверен, не брезгает даже старыми хомутами и дырявыми ведрами.

Не меньше вопросов и к смуглянке-молдаванке, собирающей чужой виноград для продажи оккупантам. С какого вдруг боудна она первому встречному бугаю исповедуется: «Партизанский молдаванский собираем мы отряд»? А если он — внештатный агент Сигуранцы? (Румынская контрразведка — Прим. Л.К.)

Да и вообще: не было в Молдавии в годы Великой Отечественной войны никаких «партизанских молдаванских отрядов».

Местность в тех краях не партизанская, молдаво-румынская, антисоветская местность, где, впрочем, не было ни эстонских, ни латвийских, ни литовских, ни еврейских — и т.п. партизанских отрядов на территории СССР. Но уголовно-националистические банды имелись в изобилии.

Далее по сюжету герой песни — молодой хобёл-мародёр, видимо, попавший на заметку оккупационным румынским властям, делает ноги и прибывает к какой-то шайке и — о, счастье любви дезертира! — встречает свою «смуглянку-молдаванку» — наверняка наводчику, с которой после гнусных воровских дел собирается предаться честному сексу:

Будем над рекою Зорьки ясные встречать!

Вот такой, господа-товарищи, вырисовывается сюжетец. Вот такой «Клён зелёный, клён кудрявый, развесёлый, лист резной...!» вытанцовывается.

Удивительно, куда только смотрела злобная коммунистическая цензура, ужасами которой и доныне престарелые недоумки-антисоветчики пугают младенцев и покойников, разрешая к исполнению сей чудовищный антисоветский текст знатного песенного шашаника сталинских времён Якова Шведова! Но чёрт с ней, с цензурой! Нет её — и слава Богу! Хотя, как знать... Но нет, так и нет. Однако уже почти век приличные певцы и порядочные люди с жаром поют эту nepотребную песню, абсолютотом не вдумываясь, о чём поют, упиваясь с восторгом любовно-воровскими похождениями «смуглянки-молдаванки» и дезертира-мародёра.

Но что делать, страшная игла художественной литературы, способная чёрное представить белым — и наоборот.

Кто-то запальчиво возразит: но разве выше уничтоженная мной песня — художественная литература?! Самая что ни на есть художественная! — отвечаю я, ибо художество — это не правда жизни, а ложь большого воображения, но такая жуткая, такая живучая, что излечить её и унич-

тожить после излечения не в состоянии правда человеческая.

И вообще: жить по правде честные люди должны с большой, большой осторожностью, а дураки и подавно.

И самое главное: правда смертных это не истина... Истина — это правда бессмертных! И всё, что вне истины — ничто!

А что касается худлитературы, то вред от неё преогромный. Человек, прочитавший три «культовых» книги: «Мастер и Маргарита», «Лолита», «Архипелаг ГУЛАГ», — и уверовавший в их непогрешимость — человек с застывшей чёрной смолой вместо мозга, человек как бы имеющий собственное мнение, не только безнадёжен для истины, но и страшен, как карманная водородная бомба за три секунды до взрыва.

Однако эти три секунды всё ещё в запасе, и я могу продолжить своё неловкое сочинительство, не отвлекаясь на суетные новости, которыми столь озабочено большинство пишущих и пьющих.

«Что у нас новенького?!» — дыша перегаром, вперевой вопрошают они. Но я стою, молчу, ибо пристрастие к спиртному и к новостям говорят о неустойчивости личности и нежелании познать вечное.

И не спешу за водкой, как некоторые, поскольку спешка никак не влияет на продолжительность жизни, поскольку в одну единицу времени, как ни спешу, больше единицы жизни не вложишь. И худтворение спешащих, как правило, не более примечательны, чем пьяный божж в свежей привокзальной луже. Но, но, но!.. Что-то не туда меня сочинительство заносит, в какое-то неблагородство подзаборное, а ведь я о своей жизни в худлитературе повествую, пытаюсь посылить ответить на вопрос:

«Как я, горемычный, угодил в эту самую худлитературу, и какого рожна ей, поганой, от меня надобно?!»

И — о, гром небесный! — телефонный звонок некоей благородной пис-дамы, т.е. писательши, возвращает меня в нетраурные рамки разумных приличий.

Я предусмотрительно не озвучиваю ФИО милейшей пис-дамы, дабы не ослабить её скромное благородство в писательских крутах — достаточно и моей громкой, угрюмой фамилии для околлитературных приживалов, негодяев и завистников. Но осмелюсь сообщить, что её муж, естественно, потомок доисторического княжеского рода Кукаркиных, после почти сорокалетнего сочинительства, вдруг узнал, что его супруга — урождённая графиня Шарлотта фон Кацнельсон, скрывавшая своё благородство в годы коммунистических гонений ради благополучия семьи, а ныне не афиширующая сие из-за наследственной скромности.

Странно, что князь фон Кукаркин так поздно прозрел, видимо, тайная графинюшка Шарлотта Кацнельсон слишком хорошо крестьянские щи варила.

И вот эта пис-дама, фамилию которой я упорно не озвучиваю, боясь, как бы не осыпалась тяжёлая-претяжёлая косметика с её лица и с прочего, измучив меня, многогрешного, своими сонетами, триолетами и мадригалами, настойчиво начинает требовать активизации творческой жизни в рамках художественной литературы, т.е. презентаций, декламаций и фуршетов под гитару с селёдкой.

Дабы как-то повежливей отделаться от неугомонной пис-дамы — графиня как-никак! — я предложил:

— А давай-ка мы наградим тебя за вклад в худлитературу каким-нибудь солидным дипломом!!!

Как правило, получившие литературные отметины пис-дамы и пис-мудаки на некоторое время оставляют меня в покое и начинают докучать другим, резонно требуя от них, в соответствии с наградами, — фуршетов, презентаций и декламаций под гитару и селёдок с гитарами, тьфу! — с гарнирами.

— Не знаю, не знаю, стоит ли меня награждать... Я ведь скромный человек и не гонюсь за наградами, как некоторые... (ка-мешек явно в мой огород — Прим. Л.К.) — закокетничала пис-дама.

— Вот поэтому именно тебя и стоит отметить! За скромность!.. Не за наглость же нам людей награждать... — внушительно возразил я, вспомнив замечательный афоризм моего старшего товарища, незабвенного Сергея Владимировича Михалкова, которым он одарил меня, не помню уж по какому поводу, кажется, за то, что я постеснялся без очереди взять коньяк в буфете ЦДЛ, и заставил малость потомиться моего великого покровителя:

«Скромность, Лёва, ук-к-к-крашает ск-к-к-ромного человека!», — назидательно изрёк Михалков, приносясь к коньяку.

Вот уж кто умел с непревзойдённой элегантностью ставить на место, соответствующее их способностям, бесчисленных пис-дам с пис-мудаками — и у которого я кое-чему успел научиться, несмотря на свою родовую строптивость и пережитки советского алкоголизма.

Вспомнив наказ великого Михалкова, я тотчас позвонил в администрацию президента... Президента Академии русской словесности, а также по совместительству президента других значительных академий и общественных организаций, председателя высшего творческого совета и заслуженного эколога Московской области, генерал-викария Григория Борисовича Осипова и предложил наградить вышеупомянутую благородную пис-дому почётным дипломом за скромный вклад в художественную литературу под девизом «Скромность украшает скромного человека». Григорий Борисович, хоть слыл значительным лицом, был человеком с добрейшей и отзывчивой душой. Он слёту предложил усилить мою формулировку:

— А если мы отметим её более весомо: «За очень скромный вклад в художественную литературу?»

Я охотно согласился, но дополнил предложение своего соратника:

— А мне, дабы пис-даме было нескучно, прошу вручить диплом «За более чем скромный вклад в художественную литературу», ибо у меня свои счёты — нет-нет, не с пис-дамой, а с художественной литературой, в которой я уже столько лет возмутительно и неясно пребываю, как беглый каторжник Жан Вальжан. Разве не заслужил?!

Григорий Борисович охотно согласился — и наградил соответствующими дипломами пис-дому и меня, многогрешного. И так ловко наградил, что все остались довольны — и муж пис-дамы, потомок доисторических князей Кукаркиных, и охотно молодящаяся пис-дама, которую я как бы в шутку назвал дочкой — ну и, естественно, художественная литература, зримо и незримо присутствующая на нашем ну очень скромном торжестве в ЦДЛ, где Михалков великий в годы советские поучал меня уму-разуму. И самое удивительное: в этот вечер худлитература ничего ни от кого не требовала, несмотря на мой красивый диплом с золотой надписью: «За более чем скромный вклад в художественную литературу». И даже тупое присутствие на нашей гульбе некоего самовлюблённого завистника Бездаренко не омрачало настроения. И, как сказал мой соратник Эдуард Хандюков-Афганский, ознакомившийся с его околлитературными испражнениями:

— Не тронь дерьмо, дай ему подсохнуть! И забудем о Бездаренко. Хотя... Ну да ладно, ибо человеку, обделённому женской любовью, остаётся любить только самого себя, что обычно заканчивается или самоубийственной тоской, или пошлой педерастией.

И странно, почему-то в связи с фамилией Бездаренко возникает фамилия писателя